

Чудо на костре



Дамир Янсуфин

Чудо на костре

«Автор»

2026

Янсуфин Д.

Чудо на костре / Д. Янсуфин — «Автор», 2026

Ганновер, ноябрь 1399 года. В городе, еще не оправившемся от чумы, появляется человек без прошлого. Генрих Книжник — переписчик манускриптов, мастер по ремонту астролябий, неприметный обыватель в потертом плаще. Он живет тихо, говорит мало, знает непозволительно много. Откуда у простого горожанина познания в астрономии, медицине и устройстве мироздания, которых нет даже у университетских магистров? Почему он иногда произносит слова, которых никто не понимает? Когда Книжник публично разоблачает шарлатана, торгующего фальшивыми эликсирами, на него обращает внимание Церковь. Отец Бенедикт, настоятель храма Святого Георга, видит в странном переписчике угрозу своей власти. Начинается расследование. За расследованием следует суд. А за судом — костер. Но то, что происходит дальше, не может объяснить никто. Огонь гаснет вокруг осужденного. Человек выходит из пламени — живой, невредимый, спокойный. И говорит слова, которые потрясут всех собравшихся: Я не человек. Я — ваше зеркало.

© Янсуфин Д., 2026

© Автор, 2026

Дамир Янсуфин

Чудо на костре

«Чудо на костре»

Исторический роман с элементами мистического реализма

Ганновер, ноябрь 1399 года.

В городе, еще не оправившемся от чумы, появляется человек без прошлого. Генрих Книжник — переписчик манускриптов, мастер по ремонту астролябий, неприметный обыватель в потертом плаще. Он живет тихо, говорит мало, знает непозволительно много. Откуда у простого горожанина познания в астрономии, медицине и устройстве мироздания, которых нет даже у университетских магистров? Почему он иногда произносит слова, которых никто не понимает?

Когда Книжник публично разоблачает шарлатана, торгующего фальшивыми эликсирами, на него обращает внимание Церковь. Отец Бенедикт, настоятель храма Святого Георга, видит в странном переписчике угрозу своей власти. Начинается расследование. За расследованием следует суд. А за судом — костер на Рыночной площади.

Но то, что происходит дальше, не может объяснить никто. Огонь гаснет вокруг осужденного. Человек выходит из пламени — живой, невредимый, спокойный. И говорит слова, которые потрясут всех собравшихся: «Я не человек. Я — ваше зеркало».

Три дня спустя он исчезнет. Но мир уже никогда не будет прежним.

«Чудо на костре» — это история о знании и власти, о вере и сомнении, о цене, которую приходится платить за истину. Это роман о средневековом городе, пропахшем дымом очагов и ладаном, о дружбе и предательстве, о суде, на котором подсудимый становится обвинителем. И о чуде, которое — возможно — было вовсе не чудом, а экспериментом, поставленным кем-то из далекого будущего.

Основано на реальных исторических документах (Ганноверские протоколы 1399–1401 гг., «Исповедь судьбы», «Книга о Зеркале») — и на вопросах, на которые у истории до сих пор нет ответов.

Для поклонников:

«Имени розы» Умберто Эко

«Волхва» Джона Фаулза

Исторической прозы Хилари Мантел

Всех, кто хоть раз задумывался: а что, если история пошла не так, как написано в учебниках?

«Истина не боится вопросов. Бог не боится сомнений. Вера не боится знания. То, что истинно, — устоит. То, что ложно, — рухнет само. И не нужно для этого костров.» — Генрих Книжник, 1399 год.

«У Золотого Колеса», Ганновер, 10 ноября 1399 года

В таверне пахло кислым ячменным сусликом, мокрой собачьей шерстью и дымом — густым, слоистым, въедающимся в дерево потолочных балок так, что за тридцать лет они стали

черны и блестящи, точно антрацит. Огонь в очаге лениво облизывал прокопченный котел, на железной решетке шипели сардельки, роняя в угли капли жира. За широким дубовым столом у окна, затянутого бычьим пузырем, сидели двое подмастерьев-суконщиков и, сдвинув головы, глухо бранились из-за какой-то гильдейской несправедливости. Больше никого — час был ранний для вечернего пьянства, но уже слишком сумеречный, чтобы сидеть дома без огня.

Генрих выбрал место в углу, спиной к стене, как делал всегда. Перед ним стояла глиняная кружка с подогретым пивом, настоящим на имбире и мускатном цвете — единственная роскошь, которую он позволял себе в эти промозглые дни. Он держал в руках небольшой томик в переплете из телячьей кожи, страницы которого заметно пошли волнами от сырости. Трактат о движении небесных сфер — старый, еще аль-Фергани в переводе с арабского на латынь, но с собственными пометками на полях. Генрих читал, но мысли его блуждали далеко: он обдумывал вероятность неурожая будущим летом, просчитывал климатические циклы, сопоставлял сведения из хроник с теми моделями, что хранились у него в сознании. Выходило неутешительно.

Скрипнула входная дверь — сперва тяжелые дубовые створки, затем внутренняя решетчатая дверца, поставленная от сквозняка. В таверну вошел человек, высокий, сутуловатый, в темно-синем плаще с потертым меховым воротником. Полы плаща были забрызганы грязью почти до колен, капюшон откинут, открывая бледное лицо с глубоко посаженными глазами и длинным прямым носом. Максимильтян. Бывший школяр Эрфуртского университета, ныне — писец в городской канцелярии, а по совместительству — душа мятущаяся, вечно ищущая знамений и тайных смыслов там, где их сроду не бывало.

Он обвел помещение взглядом, заметил Генриха, и на его лице проступило то особое выражение, с каким человек, долго сидевший взаперти, встречает старого знакомого: не радость даже, а жадное предвкушение разговора.

— Генрих, — он приблизился, стягивая перчатки с покрасневших от холода пальцев, и уселся напротив, не спрашивая позволения. — Давно тебя не видел. Как твои дела? Опять изучаешь труды?

Голос его звучал чуть хрипло — видно, простыл на осеннем ветру, продувавшем рыночную площадь насквозь. Но глаза уже впились в томик на столе с цепкой жадностью человека, для которого печатное слово — величайшая драгоценность. (Впрочем, слово было еще не печатным, а рукописным, но Максимильтян и этого не различал — для него всякая книга была откровением.)

Генрих поднял взгляд, отложил трактат корешком вверх, чтобы не терять страницу, и сделал глоток из кружки. Тепло имбирного пива растеклось по гортани, прогоняя промозглую сырость, засевавшую в груди. Он изучал лицо Максимильтяна несколько мгновений дольше, чем требовала простая вежливость. Нейросеть внутри него автоматически считывала признаки: расширенные зрачки — возбуждение или недостаток света, обветренные губы, чуть подрагивающий мизинец на левой руке. Нервное истощение. Максимильтян снова не спал ночами, терзаемый то ли астрологическими выкладками, то ли каким-то новым пророчеством, ходившим по городу.

— Здравствуй, Максимильтян, — произнес он спокойно, и голос его звучал ровно, почти ласково, как у человека, который знает много, а выдает мало. — Дела мои, как осенняя вода в Лейне: текут помаленьку, никуда не спешат. А труды... — он бросил короткий взгляд на книгу. — Труды всегда при мне. Это аль-Фергани, «Книга о небесных движениях». Перечитываю главу о предварении равноденствий. Скудная материя, но в ней есть своя поэзия.

Он отодвинул книгу чуть в сторону, освобождая пространство на выскобленном столе, и подозвал трактирщика кивком головы.

— Принеси-ка горячего вина с корицей для моего друга, — бросил он толстяку за стойкой и снова перевел взгляд на Максимильтяна. Тот уже подался вперед, явно готовясь вывалить то,

что его грызло. Генрих слегка наклонил голову, ожидая продолжения. Свет от сальной свечи упал ему на лицо, и в этот миг он выглядел не просто переписчиком книг, а кем-то иным — может быть, судьей, которому предстоит выслушать приговор, или врачом, готовым поставить диагноз.

Максимильян принял кружку обеими ладонями — не столько чтобы согреться, хотя пальцы у него заоченели изрядно, сколько из потребности за что-то держаться. От вина поднимался пряный пар, и он на мгновение прикрыл глаза, вдыхая запах корицы и гвоздики с той молчаливой благодарностью, с какой усталый путник принимает кров.

— Да, конечно, — выдохнул он, сделал осторожный глоток, обжег губу и поморщился. Затем поставил кружку на стол и кивнул на томик. — А что ты там изучаешь? — В голосе его прозвучала смесь любопытства и почти детской надежды: будто Генрих вот-вот откроет ему тайну мироздания, упакованную в несколько строк на пожелтевшем пергаменте.

Генрих помедлил. Провел ладонью по странице, разглаживая вздувшийся от сырости уголок, и усмехнулся краешком рта — улыбка вышла задумчивая, обращенная скорее внутрь себя, чем к собеседнику.

— То, о чем наши деды предпочитали молчать, а прадеды и вовсе не догадывались, — произнес он наконец. — Аль-Фергани, арабский звездочет, живший пять столетий назад, пишет о предварении равноденствий. Слышал когда-нибудь?

Максимильян мотнул головой. В Эрфурте ему читали Птолемея и Сакробоско, но арабские имена звучали для него как заклинания на неведомом наречии.

— Суть в том, — продолжил Генрих, понизив голос до того доверительного полусшепота, какой приберегают не для тайн, но для сложных материй, — что небесная сфера не стоит на месте. Точка весеннего равноденствия медленно ползет по зодиакальному кругу. Каждые семьдесят два года она смещается на один градус. За целую жизнь — едва заметно. Но за столетия набегает изрядно. Звезды, которые мы видим сегодня, стоят уже не там, где видели их александрийские мудрецы. И не там, где увидят наши внуки.

Он отпил пива и поверх кружки посмотрел на Максимильяна — спокойно, испытующе, пытаясь понять, сколько тот способен вместить.

— Представь себе огромное колесо, которое вращается так медленно, что ни ты, ни я, ни дети наших детей не заметят его движения. Но оно вертится. Полный оборот свершится за двадцать шесть тысяч лет. И когда я читаю эти строки, Максимильян, я думаю не о звездах. Я думаю о том, что все на свете — медленное колесо. Империи, города, людская память. Даже истина... и та стоит на месте лишь до поры.

Он замолчал. В очаге треснуло полено, выбросив сноп искр. Один из подмастерьев за соседним столом громко икнул и расхохотался. А Максимильян сидел неподвижно, забыв про остывающее вино, и во взгляде его читалось то особое смятение, какое охватывает человека, заглянувшего в бездну и обнаружившего, что бездна тоже на него смотрит.

Максимильян отодвинул кружку — резковато, так что вино плеснуло через край и темной каплей скатилось по глиняному боку на столешницу. Лицо его, только что озаренное любопытством, теперь осунулось и застыло в тревожной гримасе. Он оглянулся через плечо — не услышал ли кто — и, убедившись, что подмастерья заняты своей перебранкой, а трактирщик отвернулся к бочонку, снова впился взглядом в Генриха.

— Ты... — голос его сорвался, он прокашлялся и заговорил тише, но с нажимом, — ты так говоришь, что и не понять. Звезды ползут, истина не стоит на месте... Звучит-то красиво, Генрих, но вслушайся в себя! Как будто какая ересь, прости Господи. Я не понимаю. Ты говоришь загадками, а времена нынче такие, что за загадки и на дыбу угодить недолго. Ты уж про-

сти, но я тебя знаю три года, а все равно порой не разберу — мудрец ты или безумец, а может, и вовсе кто похуже.

Он замолчал, тяжело дыша, точно сам испугался собственной прямооты. Пальцы его нервно теребили край перчатки, лежащей на столе. В глазах читалась не враждебность — скорее страх пополам с искренней заботой. Так глядит человек, который боится за друга, шагнувшего, по его разумению, слишком близко к краю пропасти, куда честному христианину заглядывать не следует.

Может все-таки сбросишь эти труды, а то сейчас осень нужно готовится к зиме, говорит Максимилян

Генрих выслушал его, не перебивая, и, когда Максимилян умолк, устало потер переносицу двумя пальцами. Снаружи, за стеной таверны, завывал ветер — холодный, ноябрьский, перебирающий черепицу на крыше, словно старуха четки. От этого звука, привычного и тоскливого, в груди поселилось неясное предчувствие долгой, суровой зимы.

Он вздохнул. Нейросеть внутри него бесстрастно выдала прогноз: малый ледниковый период, аномальные холода, неурожаи, голодные бунты в германских землях в ближайшие десятилетия. Но изложить это на языке, доступном Максимилянцу и не пахнущем костром, можно было лишь одним способом — языком простой житейской мудрости.

— Возможно, ты прав, — произнес он негромко и закрыл томик аль-Фергани. Ветхий переплет шелкнул, будто захлопнулся маленький сундук с драгоценностями, которые пока некому показывать. — Осень есть осень, и зима не спросит, дочитал ли ты главу о предварении равноденствий. Она спросит, полны ли твои закрома.

Он обвел взглядом таверну: очаг, сардельки, подмастерьев, что уже дошли до той степени опьянения, когда спор становится братским, а не злым. Усмехнулся краешком губ. Тепло, пища, крыша над головой — вот она, вечная математика выживания, перед которой меркнут все трактаты.

— Ты говоришь дельно, Максимилян. Зима в этом году будет долгой. Очень долгой и студеной — помани мое слово. Я смотрел на закаты, на то, как рано улетели гуси, на толщину скорлупы у орехов в роще за городской стеной. Все указывает на одно. Так что... — он подвинул книгу на край стола, словно отодвигая соблазн углубиться в чтение, — труды подождут. А вот дрова, вяленое мясо и теплая обувь — нет.

Он допил пиво и поднялся, набрасывая на плечи плащ — темно-серый, добротный, но выдавший виды.

— У меня в лавке завалилась хорошая овчина. И соль я закупил с запасом еще в сентябре, когда цена была низкой. Если тебе что-то нужно, говори сейчас. Зимой делиться будет поздно — каждый будет дрожать за свое.

Он посмотрел на Максимиляна прямо, без прежней отстраненности, и в этот миг выглядел уже не книжным червем, не толкователем сфер, а просто человеком, прожившим достаточно, чтобы знать: от голода и холода не спасают ни молитвы, ни астрологии, ни тайные знания восьми грядущих столетий. Спасают только предусмотрительность да добрый товарищ, с которым эту предусмотрительность можно разделить.

Максимилян поднялся следом, одернул плащ и на мгновение задержал ладонь на плече Генриха — жест, какой позволяют себе только старые друзья или люди, искренне обеспокоенные чужой душой. Рука у него была холодная, пальцы чуть подрагивали, но пожатие вышло твердым.

— Хорошо, — сказал он и выдержал паузу, взглядываясь Генриху в лицо, будто пытаюсь прочесть там что-то, скрытое от посторонних глаз. — Я рад, что ты меня услышал. И за овчину спасибо — загляну к тебе в лавку завтра, перед обедней.

Он уже повернулся было уходить, запахнув воротник от сквозняка, но остановился. Поколебался мгновение и, понизив голос до едва различимого шепота, добавил:

— Но ты... будь осторожнее с этими догмами, Генрих. Я человек простой, звездных премудростей не разумею, но слухи по городу ходят быстро. Ты говоришь о колесах, которые вертятся двадцать шесть тысяч лет, а чье-нибудь ухо услышит «ересь» и «Птолемя-нехрестия». Тебе это надо? Доминиканцы из монастыря Святого Креста нынче рьяны не в меру — ищут, за что ухватиться. А у тебя язык остер и мысли смелы. Вот я и прошу: окуратнее. Не ради меня — ради себя.

Он перекрестился мелко, почти незаметно, и шагнул к выходу. У самой двери еще раз обернулся, и в тусклом свете очажной решетки его лицо показалось старше своих лет — лицо человека, который боится не столько за тело, сколько за бессмертную душу друга.

— До завтра, Книжник.

Дверь скрипнула,пустила холодную струю воздуха и захлопнулась. Генрих остался один у пустого стола. Свеча чадила, кружка опустела, а ветер за стеной выводил свою бесконечную осеннюю ноту — низкую, тягучую, точно сама земля стонала в предчувствии зимы.

Ганновер, Рыночная площадь, 11 ноября 1399 года, около полудня

Колокол церкви Святого Георга отбил полдень — двенадцать мерных, тяжелых ударов, расплывавшихся в сыром воздухе, точно круги по воде. День Святого Мартина выдался пасмурным, но без дождя; низкое небо висело над городом, как войлочная попона, и под этим небом краски ганноверской осени казались приглушенными, почти монохромными: серый булыжник, серые фахверковые фасады, серые лица прохожих.

Генрих вышел из своей лавки у Кожевенного моста еще затемно, но дела задержали: сперва заглянул булочник Гюнтер, просивший составить прошение в гильдию, затем явилась вдова-суконщица с тяжбой о наследстве. К полудню он освободился и теперь шел через Рыночную площадь, направляясь к собору, где рассчитывал встретить Максимильяна. В левой руке он нес сверток с овчиной, перевязанный бечевкой, в правой сжимал посох — не столько для опоры, сколько по привычке: железный наконечник звонко цокал по камням, разгоняя зазевавшихся голубей.

Площадь жила своей обыденной жизнью. У фонтана Святого Мартина, построенного еще при деде нынешнего бургомистра, толпились торговки с корзинами сушеных яблок и поздней репы. Мясник в залитом кровью фартуке разрубал свиную тушу прямо на телеге. Два ландскнехта в мятых шляпах с перьями играли в кости на ступенях ратуши, не обращая внимания на неодобрительные взгляды проходящих мимо монахов.

Но главное действие разворачивалось у северного портала церкви Святого Георга, где на перевернутой пивной бочке, словно на кафедре, стоял человек в черной сутане. И голос его — зычный, поставленный, привыкший перекрывать и колокольный звон, и рыночный гвалт, — разносился над площадью, точно удары бича.

— ...ибо сказано в Писании: «не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа»! — гремел проповедник, простирая тощую, обтянутую пергаментной кожей длань к серому небу. — Но чем воздадим мы Господу за слово Его, а? Чем возблагодарим Святую Матерь Церковь, что ведет нас, слепых агнцев, по пути спасения? Не словами, о нет! Слова — ветер. Молитвой? Молитва — хорошо, но достаточно ли? Я спрашиваю вас, добрые христиане Ганновера: достаточно ли одной молитвы?!

Толпа, собравшаяся у бочки, насчитывала уже полсотни душ — больше женщин в темных платках, несколько стариков, пара ремесленников, отвлекшихся от работы, и целая стайка

оборванных детей, которым зрелище заменяло театр. Они глядели во все глаза. Проповедник был им знаком — то не местный священник, а заезжий доминиканец, из тех, что странствуют от города к городу, разжигая благочестие, а заодно и мощну. Лицо его, острое и костистое, хранило печать того особого, голодного аскетизма, который впечатляет толпу куда сильнее, чем сытое довольство приходского пастыря.

Генрих остановился поодаль, под аркадой суконного ряда. Прислонился плечом к деревянному столбу и стал слушать — без страха, но с тем холодным профессиональным интересом, с каким врач наблюдает симптомы давно известной болезни.

— Так слушайте же меня, чада Господни, и да войдут слова мои в сердца ваши! — проповедник сделал театральную паузу, обвел толпу горящими глазами и возвысил голос до крика. — Господь видит каждую лепту, опущенную в церковную кружку! Господь записывает в Книгу Жизни каждого, кто не поскупился на украшение Его дома! Ибо церковь — не просто камни и витражи, но врата в Царствие Небесное! И врата эти, добрые люди, надобно содержать в чистоте! Золото на алтаре — это не золото, это любовь ваша, вознесенная к престолу Всевышнего!

Он выхватил откуда-то из складок сутаны небольшой деревянный ящичек с прорезью в крышке и потряс им в воздухе. Внутри что-то сиротливо звякнуло — пфенниг, от силы два.

— Кто любит Господа — да опустит монету! Кто любит Святую Церковь — да опустит две! Кто печется о спасении своей бессмертной души — да не поскупится, ибо скупой в земной жизни унаследует не райские кущи, но геенну огненную! Скупой — брат Иуде, предавшему Спасителя за тридцать сребреников! Помните об этом, люди Ганновера, когда рука ваша тянется к кошельку и сатана нашептывает вам: «побереги, пригодится»! Не слушайте сатану! Слушайте Господа и Церковь Его!

Он спрыгнул с бочки, легкий и пружинистый, как кузнечик, и пошел вдоль толпы, выставив ящичек далеко вперед, заглядывая в лица — сперва жалостливо, потом требовательно, потом почти угрожающе.

— Подайте, добрые христиане, подайте во славу Божию! Не для меня, грешного, — для Него! Для Того, Кто видит каждую монету!

Женщины стали развязывать узелки платков, старухи выуживали медяки из потайных карманов юбок. Какой-то подвыпивший купец, желая покрасоваться перед толпой, швырнул в ящик серебряный грош и перекрестился с пьяной истовостью. Проповедник благословил его, возложив ладонь на макушку, и двинулся дальше.

Генрих наблюдал. Наблюдал и молчал. Нейросеть внутри него бесстрастно анализировала: психология толпы, архетип индульгенции, социальный механизм эксплуатации страха перед адом. Как это будет названо в будущем? Религиозный маркетинг? Эмоциональная манипуляция? Через столетие после Лютера это вызовет бурю. Через два столетия станет анекдотом. Через пять — историей, которую будут изучать в университетах. Но сейчас, в 1399 году, этот человек с ящичком — сила, перед которой безмолвствуют бургомистры и склоняются герцоги. И возражать ему вслух — все равно что совать голову в петлю, приглашая палача затянуть узел.

Проповедник приближался. Его цепкий взгляд уже зацепился за одинокую фигуру под аркадой — неприметный мужчина в добротном плаще, явно не из черни, с посохом в руке и свертком под мышкой. Доминиканец двинулся к нему, и толпа расступилась, как вода перед носом лодки. Ящичек, уже слегка отяжелевший, звякнул в предвкушении новой жертвы.

— А ты, сын мой? — проповедник остановился в трех шагах, окинул Генриха быстрым оценивающим взглядом: плащ не рваный, лицо сытое, значит, водится монета. — Я не видел тебя у воскресной мессы. Что же ты стоишь в стороне? Или Господь не достоин твоего серебра?

Глаза его сверкнули — в них читался вызов, привычка давить и подчинять, отработанная годами уличных проповедей. Толпа обернулась, разглядывая незнакомца. Дети зашептались. Торговки замерли, не донеся товар до покупателя. Воздух сгустился, как бывает перед грозой.

Генрих встретил взгляд доминиканца спокойно, без вызова и без страха. Он чуть склонил голову — ровно настолько, чтобы жест можно было истолковать как вежливый поклон, но не как признание власти, — и, не проронив ни слова, шагнул в сторону. Его посох размеренно цокнул по булыжнику: раз, другой, третий. Сверток с овчиной он перехватил поудобнее и двинулся прочь, в сторону Кожевенного моста, туда, где утренний туман еще не до конца рассеялся и дома казались размытыми, точно на плохо прописанной миниатюре.

За спиной повисла тишина — та особенная, звенящая, какая бывает, когда толпа ожидает зрелища, а зрелище отказывается происходить. Проповедник замер с протянутым ящичком, и лицо его, только что сиявшее елейным благочестием, на мгновение дрогнуло. Так дрожит натянутая струна, когда ее задевает неосторожный палец. Он не привык, чтобы от него уходили молча. Это было хуже возражения. Возражение можно растоптать, высмеять, обрушить на голову спорщика кару небесную и народное презрение. Но молчание? Молчание не за что ухватить. Оно скользит сквозь пальцы, как вода.

И тогда он сделал то, что делают все уязвленные проповедники, чей авторитет публично не признали: он ударил вслед.

— Ну и иди! — выкрикнул он зычно, и голос его разнесся над площадью, как карканье ворона. — Иди, иди, если не любишь Господа нашего! Таким, как ты, не место среди добрых христиан! Стоишь в стороне, молчишь, прячешь глаза — думаешь, мы не видим? Думаешь, Господь не видит? Он-то видит всё, и воздастся тебе сторицей, но не золотом, а серой и пламенем в день Суда!

Толпа, разочарованная тем, что представление вышло коротким, охотно загудела. Отвращение, как и сочувствие, — товар дешевый, разбирают охотно. Кто-то хмыкнул, кто-то сплюнул вслед, одна из старух мелко перекрестилась, глядя на Генриха так, будто тот самолично нес в подоле чуму. Дети, подражая взрослым, стали показывать пальцами и хихикать. Смех покатился по площади — сперва робкий, затем громче, подхваченный теми, кто и сам не понимал, над чем смеется, но чувствовал: так надо, так велит человек в черной сутане, так велит толпа, а толпа ошибаться не может.

— Глядите, глядите! — распаялся проповедник, взбираясь обратно на бочку и простирая длань вслед уходящей фигуре. — Гордыня! Гордыня — мать всех пороков! Он даже не удостоил нас ответом! Не удостоил Господа! Но ничего — гордыня предшествует падению, и падение его будет великим! Помяните мое слово, добрые люди!

Генрих не обернулся. Он продолжал идти — мерным, ровным шагом, каким ходят люди, знающие цену и этой толпе, и этому проповеднику, и этому смеху за спиной. Лицо его не выражало ни обиды, ни страха, ни гнева. Только легкая тень усталости залегла в уголках рта. Он думал о том, что через сто лет здесь, на этой самой площади, будут стоять другие люди и слушать другие речи — о спасении без серебра, о вере без страха. Через двести — запыхают костры, но уже для тех, кто слишком рьяно требовал денег за небеса. Через пятьсот — на этом месте будут сидеть туристы и фотографировать церковь, даже не зная, как она называется...

Но сейчас — сейчас холодный ноябрьский ветер гнал по булыжнику сухие листья, и смех толпы еще звенел в ушах, и один из мальчишек, самый бойкий, подбежал и дернул его за край плаща, выкрикнув что-то обидное. Генрих остановился, посмотрел на мальчишку — спокойно, без угрозы, но так, что тот осекся, попятился и скрылся в толпе.

А затем он свернул в переулок, и смех стих за поворотом, растворившись в монотонном шуме города. Остался только цокот посоха по камням, далекий колокольный звон и мысль, которую Генрих произнес про себя, почти беззвучно, одними губами: «Прости им, ибо не ведают, что творят. И вряд ли узнают еще лет двести».

Они встретились у Кожевенного моста, где река Лейне, серая и сонная, лениво облизывала замшелые сваи. Максимильтян сидел на перевернутой лодке, кутаясь в свой неизменный

синий плащ, и, завидев Генриха, поднялся быстро, почти испуганно — видно, уже слышал о происшествии на площади. Новости в Ганновере летали быстрее голубей.

— Генрих! — окликнул он и, подойдя ближе, схватил его за локоть с той тревожной фамильярностью, какую позволяют себе лишь старые друзья. Лицо его было бледно, а в глазах читался немой укор. — Я все знаю. Уже весь рынок гудит. Говорят, ты оскорбил доминиканца. Вернее... не оскорбил, а того хуже — промолчал.

Генрих остановился, оперся на посох и посмотрел на друга долгим, непроницаемым взглядом.

— Я не оскорблял его, — произнес он тихо. — Я просто не дал ему того, чего он хотел. Моего страха. Моего серебра. И моего публичного унижения перед толпой. Он этого не простил.

Максимильян покачал головой и выпустил его локоть.

— Ох, Генрих, Генрих... — он вздохнул тяжело, как вздыхает человек, уставший повторять одно и то же. — Ты думаешь, им нужна твоя правда? Им нужно твое коленопреклонение. А ты даже голову не склонил, я слышал. Ты просто ушел. Это, знаешь ли, пострашнее ереси. Еретика можно сжечь — и дело с концом. А молчание... молчание оставляет загадку. А загадки в наше время не любят. Особенно черные сутаны.

Он понизил голос и, оглянувшись по сторонам, приблизился почти вплотную.

— Послушай меня. Я знаю доминиканцев. В Эрфурте они довели одного магистра до того, что тот повесился в собственной келье, а книги его сожгли во дворе монастыря. А он всего лишь сказал, что Бог, возможно, больше, чем Церковь. Всего лишь сказал. А ты... ты молчишь так, будто знаешь что-то, чего они не знают. И это твое молчание для них — как красная тряпка для быка.

Он взял Генриха за плечи и заглянул ему в глаза.

— Я прошу тебя, Книжник. Не ради меня — ради тебя. Будь осторожнее. Не дразни их. Они — как вороны: сперва каркают издали, а потом слетаются целой стаей. Завтра этот проповедник уйдет в другой город. А послезавтра может вернуться с подмогой.

Генрих долго молчал, глядя не на друга, а на серую воду Лейне, текущую под мостом. Потом медленно кивнул.

— Ты прав. Я буду осторожнее.

Максимильян выдохнул с облегчением, но тут же нахмурился снова, потому что в голосе Генриха ему послышалось что-то недосказанное. Что-то, похожее не на капитуляцию, а на отложенное сражение. Ворон на перилах моста каркнул и улетел, роняя в воду черное перо.

Ганновер, Рыночная площадь, 13 ноября 1399 года, утро

Прошло два дня. Доминиканец покинул город на рассвете двенадцатого числа — ушел по Бременскому тракту, унося с собой деревянный ящичек, изрядно потяжелевший, и невысказанную обиду на молчаливого горожанина в сером плаще. Ганновер вздохнул с облегчением, как вздыхает человек, у которого вынули занозу. Но природа не терпит пустоты, а рыночная площадь — тишины. И уже к полудню следующего дня на место проповедника заступил другой лицедей.

На сей раз это был не монах. У фонтана Святого Мартина, на том самом месте, где еще вчера стояла пивная бочка доминиканца, теперь возвышалась конструкция похитрее: складной деревянный стол, покрытый выцветшим синим сукном, а на нем — целое хозяйство. Стеклянные колбы мутноватого стекла, перегонный куб величиной с кошку, пучки сушеных трав, подвешенные за нитки, медный астролябий на треноге и череп — непременно череп, ибо какой же ученый муж обходится без черепа? Череп был бараний, но толпе это было невдомек.

За столом стоял человек лет пятидесяти, облаченный в мантию из дешевого бархата мышинового цвета, с меховой опушкой, какую носят университетские магистры, но мех был

потертый, а мантия — явно с чужого плеча. Лицо его, круглое и румяное, лоснилось довольством, а маленькие хитрые глазки бегали по толпе, точно мыши в амбаре. Борода клинышком была ухожена и надушена, а на голове красовалась шапочка с кисточкой — та самая, что отличала докторов свободных искусств. Он стоял, широко расставив ноги, и говорил — не кричал, как доминиканец, но журчал, точно ручей, вкрадчиво и сладко, и голос его обволакивал слушателей, как теплый мед.

— Добрые жители славного города Ганновера! — возглашал он, раскинув руки, и рукава его мантии развевались на ветру, точно крылья летучей мыши. — Я, доктор свободных искусств и магистр натуральной философии Адриан Байер, прибыл к вам из самого Гейдельберга, благословением Господним и покровительством святой Церкви! Ибо сказано в Писании: «познайте истину, и истина сделает вас свободными». А что есть истина, как не познание творений Божиих? Я пришел не оспаривать слово Церкви, но укрепить его! Ибо чем лучше мы понимаем творение, тем сильнее любим Творца!

Толпа загудела одобрительно. Это вам не мрачный аскет с угрозами геенны — это человек ученый, веселый, уважающий Бога и не требующий денег. По крайней мере, пока не требующий.

Генрих стоял в той же аркаде суконного ряда, где два дня назад прятался от доминиканца. Он скрестил руки на груди и слушал. Нейросеть внутри него оценивала: лексика — псевдоинтеллектуальная, аргументация — круговая, примесь богословия — ровно та, чтобы усыпить бдительность приходских священников. Классический шарлатан. Но шарлатан умелый, этого не отнять.

— Взгляните! — Байер поднял над головой стеклянную колбу, наполовину заполненную мутноватой жидкостью бурого цвета. — Вот эликсир, извлеченный мною из печени тритона и корня мандрагоры, собранной при свете полной луны на кладбище Святой Одилии! Сей эликсир, будучи принят натошак с молитвой и постом, исцеляет подагру, меланхолию, зубную боль и бесплодие женского чрева! Но внимание! — он поднял палец и обвел толпу значительным взглядом. — Исцеляет лишь в том случае, если сердце страждущего открыто Господу! Ибо Церковь учит: вера без дел мертва. А я добавляю: и наука без веры слепа! Я не продаю чудес, добрые люди. Я продаю смирение перед мудростью Творца, явленной в природе!

Кто-то ахнул. Какая-то женщина, судя по одежде — жена зажиточного ремесленника, уже полезла в кошелек. Байер заметил это и расплылся в улыбке, но тут же вернул лицу выражение благочестивой скромности.

— Идем дальше! — он поставил колбу и взял в руки медный астролябий. — Вот инструмент, с помощью которого я читаю по звездам волю Божию! Не ту волю, что сокрыта от нас до Страшного Суда, о нет — этого никому не дано! Но ту, что касается малых дел человеческих: когда сеять, когда жать, когда вступать в брак, а когда отправляться в торговое плавание! Ибо звезды суть письма Господни на небесном своде, и Церковь не запрещает читать их, но предостерегает от ложных толкований. Я же толкую их в строгом согласии с учением Отцов!

Толпа прибывала. Крестьяне с окрестных хуторов, приехавшие на рынок, разинув рты, слушали про тритонов и звезды. Два городских стражника, прислонившись алебардами к стене, следили не столько за порядком, сколько за представлением. Даже трактирщик из «Золотого Колеса» вышел на крыльцо, вытирая руки о фартук, и уставился на заезжего магистра с тем особым выражением, какое бывает у человека, прикидывающего, сколько пива закажут зеваки после такого зрелища.

Байер, почувствовав внимание и одобрение, расцвел окончательно. Он отложил астролябий и взял со стола длинный свиток, испещренный какими-то знаками и печатями.

— И наконец, добрые христиане, главное мое сокровище! — он развернул свиток так, чтобы толпа видела печати, но не могла прочесть написанного. — Грамота, выданная мне лично его преосвященством епископом Гейдельбергским, удостоверяющая, что все мои труды

— во славу Божию и в послушание Святой Матери Церкви! Ибо я не маг, не еретик, не звездочет-нехристь, но смиренный слуга Господа, вооруженный знаниями Его творений! И всякий, кто приобретет мой эликсир или мой трактат «О небесных влияниях на земные дела», внесет лепту не в мой карман, но в дело прославления Бога через науку!

Тут он сделал паузу, и лицо его приняло выражение отеческой заботы.

— Трактат стоит всего три пфеннига. Эликсир — пять. Для тех, кто беден, но чист сердцем — уступлю. Ибо не ради наживы я странствую, но ради просвещения душ!

Генрих наблюдал и слушал. В отличие от доминиканца, Байер не вызывал у него гнева. Скорее — странное чувство, родственное ностальгии. Нейросеть подсказывала: через шесть столетий на том же месте будут стоять лотки с «чудодейственными браслетами» и «квантовыми амулетами». Поменяются слова, но схема останется прежней. Тритон, мандрагора, кладбище Святой Одиллии... Через шестьсот лет это назовут «биоэнергетическим резонансом» и «наночастицами серебра». А печень тритона останется печенью тритона — бесполезной, но хорошо продаваемой субстанцией.

Он уже хотел уйти, но тут Байер заметил его. Заметил и, в отличие от доминиканца, не принял за врага — скорее за потенциального клиента. Его хитрые глазки блеснули, и он, прервав свою речь, обратился прямо к стоящему под аркадой незнакомцу.

— А вот и почтенный горожанин, судя по плащу и осанке — человек образованный! — воскликнул Байер, простирая к нему руку. — Подойдите, сударь, не стесняйтесь! Быть может, у вас болит поясница? Или супруга страдает мигренями? Или вас мучают вопросы о движении небесных сфер? Для всякого недуга и всякого вопроса у меня найдется ответ!

Толпа обернулась. Снова. Как и два дня назад. Генрих понял, что второй раз уйти молча не получится — это уже будет выглядеть не как скромность, а как вызов.

Генрих шагнул вперед. Толпа расступилась — не из почтения, а из того же любопытства, с каким зеваки расступаются перед двумя бойцовыми петухами. Байер, почувствовав, что представление набирает обороты, расплылся в улыбке и сделал приглашающий жест, точно хозяин таверны, зазывающий дорогого гостя.

— Подойдите, подойдите, сударь! — пропел он. — Вижу, у вас вид человека мыслящего. Быть может, вы хотите приобрести мой трактат? Или желаете задать вопрос? Спрашивайте, не стесняйтесь! Ибо сказано: «стучите — и отворят вам»!

Генрих подошел к столу. Неспешно обвел взглядом разложенные предметы: колбы, череп, астроябий, свиток с печатями. Задержал взгляд на перегонном кубе. Затем перевел глаза на Байера — спокойные, серые, ничего не выражающие.

— Вы сказали, — произнес он негромко, но отчетливо, так, что слышала вся площадь, — что эликсир ваш извлечен из печени тритона и корня мандрагоры, собранной при полной луне на кладбище Святой Одиллии.

— Именно так! — Байер гордо выпятил грудь, но в глазах его мелькнула тень настороженности.

— И он исцеляет подагру, меланхолию, зубную боль и бесплодие, — продолжил Генрих. — И все это — при условии, что сердце страждущего открыто Господу.

— Истинно так, сын мой! Вы весьма внимательны!

Генрих кивнул, будто соглашаясь. Затем наклонился и взял со стола колбу с бурой жидкостью. Поднес к глазам, посмотрел на свет.

— Тритон, — произнес он задумчиво, — существо редкое. Водится в южных пределах, в Альпах, кое-где в Апеннинах. Сейчас ноябрь, тритоны зимуют под камнями, печень их в это время года мала и жиром не богата. Чтобы добыть количество, нужное для этой колбы, вам пришлось бы изловить сотни четыре, если не больше. Полагаю, у вас был целый отряд ловцов?

Байер моргнул. Улыбка его чуть дрогнула.

— Я... я приобрел экстракт у одного аптекаря в Ульме...

— В Ульме, — кивнул Генрих. — Должно быть, у того самого, что торгует еще и единорожьим рогом, толченым в порошок, который на деле — бивень нарвала из северных морей. Но оставим тритона. Мандрагора. Вы сказали — собрана на кладбище Святой Одилии при полной луне. Похвально. Только вот корень мандрагоры, согласно всем травникам от Диоскорида до Маттеуса Платеария, содержит алкалоиды, вызывающие помрачение рассудка, а вовсе не исцеляющие меланхолию. Давать его беременной женщине, страдающей бесплодием — простите, тут я усмехнулся бы, если бы не было так грустно, — значит либо убить ее, либо обречь на выкидыш. Вы это хотите продать за пять пфеннигов?

Площадь притихла. Женщина, что уже полезла в кошелек, замерла с развязанными завязками. Стражники переглянулись. Трактирщик на крыльце поставил кружку, которую протирал, и усталился на спорщиков.

Лицо Байера побагровело. Он попытался сохранить улыбку, но она уже напоминала оскал.

— Вы... вы дерзкий человек! — выкрикнул он. — Кто вы такой, чтобы оспаривать труды магистра свободных искусств? Вы что, врач? Аптекарь? Или, быть может, universitymagister? Я учился в Гейдельберге! А где учились вы?!

— Я читал книги, — спокойно ответил Генрих. — В том числе те, которых вы, судя по вашему эликсиру, не открывали. Но пойдем дальше. Ваш астробабий.

Он взял со стола медный прибор и повертел его в руках. Усмехнулся краешком рта.

— Хорошая работа. Нюрнберг? Или Аугсбург? Видно, что вещь недешевая. Одно плохо: альмукантараты размечены для широты сорок девять градусов. Гейдельберг — сорок девять и двадцать пять, тут вы правы. Но Ганновер — пятьдесят два и тридцать семь, — он поднял глаза на Байера, — ваш астробабий врет здесь на три градуса с лишним. Это примерно двести миль ошибки по земной поверхности. По нему нельзя вычислить даже час восхода солнца, не то что волю Божию.

Толпа загудела. Кто-то прыснул. Один из стражников хмыкнул в усы. Байер побледнел, потом покраснел снова. Его румяное лицо теперь напоминало свеклу в разрезе вен и прожилок.

— Да как вы смеете! — он ударил кулаком по столу, и колбы жалобно звякнули. — Вы, невежда, нахватавшийся обрывков знаний! Вы позорите меня перед честным народом! Это клевета! Это... это происки дьявола! Я пришел просвещать, а вы сеете смуту!

— Я сею не смуту, — ответил Генрих, ставя астробабий обратно на стол, — а факты. Вы продаете подкрашенную воду с запахом уксуса, выдавая ее за лекарство, и фальшивый астробабий, выдавая его за инструмент божественного откровения. И при этом клянетесь именем Церкви. Не знаю, что сказал бы на это епископ Гейдельбергский, но думаю, что даже доминиканец, который стоял здесь два дня назад, по сравнению с вами — образец благочестия. Тот хотя бы не притворялся ученым.

Площадь ахнула.

Байер открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Лицо его перекошилось от ярости. Он схватил со стола свиток с печатями — тот самый, что якобы удостоверял его полномочия, — и потряс им в воздухе.

— Вот! Вот грамота! Заверенная! С печатью! А у вас что? Где ваши грамоты? Где ваши звания? Вы — никто! Простой горожанин, возомнивший себя умнее всех! Вы завидуете мне, потому что я достиг того, чего вам не дано! Вы...

Он задохнулся от бешенства. Схватил со стола колбу и запустил ею в Генриха. Колба пролетела мимо, ударилась о булыжник и разбилась вдребезги. Бурая жидкость растеклась по камням, испуская запах прокисшего вина с примесью какой-то горькой травы. Стражники встрепенулись. Один из них шагнул вперед, но не спешил вмешиваться — происходящее было слишком увлекательным.

Генрих не шелохнулся. Он стоял, скрестив руки, и смотрел на Байера все с тем же спокойным, почти сочувственным выражением.

— Вы спрашиваете, где мои грамоты? — тихо произнес он, так, что слышал только Байер. — У меня их нет. Но знаете, что я вам скажу, магистр? Знания не в грамотах. Истина не в печатях. И Господь, которого вы так усердно поминаете к месту и не к месту, вряд ли нуждается в том, чтобы Его именем торговали тухлым вином. А теперь совет: соберите свои колбы и уезжайте. Пока горожане не начали задавать вопросы, на которые у вас нет ответов.

Он повернулся и пошел прочь. Байер, оставшись у разбитой колбы, что-то кричал ему вслед — бессвязное, злобное, с упоминанием дьявола, ереси и Страшного Суда. Но толпа уже не слушала его. Она смотрела вслед уходящему человеку в сером плаще, и в этих взглядах не было прежнего отчуждения. Было изумление. Было сомнение. И впервые за долгое время — проблеск мысли.

Байер затрясся. Лицо его из багрового сделалось почти фиолетовым, а на лбу вздулась толстая синяя жила, пульсирующая в такт бешеному сердцебиению. Он топнул ногой — раз, другой, третий, — точно капризный ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Мантия его сбилась набок, шапочка с кисточкой съехала на ухо, и весь облик магистра свободных искусств в одно мгновение утратил и достоинство, и благообразие, и даже ту жалкую тень учености, что еще недавно витала над его столом.

— Ах так! — взвизгнул он, брызгая слюной. — Ты, крыса книжная, выскочка, завистник! Ты думаешь, что умнее всех? Думаешь, тебе это сойдет с рук?! Я этого так не оставлю! Слышишь? Не оставлю!

Он схватил со стола череп — тот самый бараний череп, что должен был внушать почтение к его персоне, — и с размаху швырнул его оземь. Череп раскололся надвое, и один из рогов отлетел под ноги ближайшей торговке. Та взвизгнула и отпрянула, крестясь.

— Я пойду к отцу Бенедикту! К самому архидьякону пойду! — орал Байер, лихорадочно запихивая колбы в дорожный мешок. Руки его дрожали так, что стекло звенело, ударяясь о стекло. — Я расскажу о тебе, еретик! Ты позорил святую Церковь! Ты хулил ученого человека, благословленного епископом! Ты сеял сомнения в сердцах добрых христиан! Ты... ты... антихрист!

Он запихнул в мешок астролябий, даже не завернув его в тряпицу, сорвал со стола синее сукно, и свиток с печатями, и пучки трав, рассыпавшихся по булыжнику сухим крошевом. Все это он сгреб в охапку, не глядя, не разбирая, точно вор, застигнутый на месте преступления. Перегонный куб он попытался подхватить локтем, но тот зацепился за край стола и с грохотом покатился по мостовой, оставляя вмятины на медном боку.

Никто не помог ему. Никто не шелохнулся.

Толпа стояла, замерев. Так замирает лес перед грозой, когда смолкают птицы и даже ветер задерживает дыхание. Женщины прижимали платки к губам. Мужчины хмурились, переглядываясь, но не произносили ни слова. Стражники, опершись на алебарды, наблюдали за происходящим с выражением лиц, какое бывает у людей, впервые увидевших, как уличный фокусник разоблачает сам себя. Трактирщик на крыльце «Золотого Колеса» медленно покачал головой и что-то пробормотал себе под нос — то ли молитву, то ли ругательство.

Максимильян, все это время стоявший в задних рядах, выбрался вперед и смотрел то на удаляющуюся спину Генриха, то на беснующегося Байера. Лицо его было бледно, но в уголках губ пряталась странная усмешка — та, что появляется у человека, который давно подозревал неладное и наконец-то получил подтверждение.

Байер тем временем взвалил мешок на плечо, подобрал с земли покалеченный перегонный куб и, не оборачиваясь, ринулся прочь. Он шел быстро, почти бежал, спотыкаясь о булыжник и что-то бормоча под нос. Мантия его волочилась по грязи, шапочка свалилась и осталась

лежать посреди площади — маленький бархатный комочек с жалкой кисточкой, похожий на дохлую мышь. Никто не поднял ее. Никто не окликнул беглеца.

— Священнику... Я все расскажу... — донеслось уже с края площади, и фигура в мышинной мантии скрылась за углом пекарни Грюнвальда. Только эхо его шагов еще несколько мгновений металось между фахверковыми стенами, а затем стихло, поглощенное шумом города.

И тогда тишина взорвалась.

Загудели женщины — сперва тихо, потом громче. Старуха в черном платке, та самая, что два дня назад крестилась вслед Генриху, теперь говорила что-то соседке, и в голосе ее слышалось не осуждение, а растерянность: «А ведь верно он сказал... про тритонов-то... откуда ж в ноябре тритоны?» Мясник, что рубил туши на углу площади, хмыкнул и бросил подмастерью: «Видал? Вот тебе и магистр. Пять пфеннигов за тухлое вино!» Двое стражников переглянулись, и старший из них, усатый детина со шрамом через бровь, произнес задумчиво: «А книжник-то не промах. Я всегда говорил — себе на уме человек, но дело говорит».

Кто-то подобрал с земли обломок бараньего черепа и вертел его в руках, разглядывая с тем же недоумением, с каким разглядывают ярмарочную подделку, обнаруженную слишком поздно. Мальчишки, что еще недавно дразнили Генриха, теперь стояли притихшие и перешептывались, обсуждая увиденное на своем птичьем языке.

Но были и другие. Высокий сутулый мужчина в одежде подмастерья-суконщика — один из тех, что сидели в «Золотом Колесе» два дня назад, — нахмурился и сплюнул под ноги.

— Тоже мне, умник выискался, — проворчал он негромко, но так, чтобы слышали соседи. — Пришел, опозорил ученого человека, и ушел. А мы теперь думай, кому верить. Может, магистр-то и прав не во всем был, но кто он такой, чтобы прилюдно человека срамить? Это не по-христиански.

Его поддержал сосед, старый пекарь с мучными отпечатками на переднике:

— И то верно. Тихо жил, тихо книги свои читал, а тут вдруг вылез. И слова у него... слышали, как он про мандрагору сказал? «Алкалоиды»... что за слово такое? Не наше слово. Может, и впрямь бесовщина какая. Пойду-ка я поставлю свечку святому Георгию от греха подальше.

Толпа разделилась — одни молчали в изумлении, другие ворчали с недоверием, третьи, напротив, оживленно обсуждали случившееся, и в их голосах звенело давно забытое чувство: пробуждение здравого смысла.

А посреди всего этого — обломки бараньего черепа, пятно от разлитого эликсира, втопанная в грязь шапочка с кисточкой и перегонный куб с помятым боком, сиротливо лежащий у сточной канавы. Словно поле битвы. Только битва эта была не на мечах и не на копьях, а на словах. И победитель ушел, не оглянувшись, а побежденный бежал, грозя священником и Страшным Судом.

Максимильян постоял еще немного, глядя на удаляющуюся фигуру друга, потом вздохнул, покачал головой и пробормотал себе под нос:

— Ох, Генрих... Велел ведь тебе быть осторожнее. А ты взял и разнес магистра в пух и прах при всей площади. Теперь точно не оберешься беды.

Он закутался поплотнее в плащ и быстрым шагом двинулся в сторону Кожевенного моста — догонять друга и, может быть, еще раз напомнить ему о том, что истина, сказанная не вовремя, опаснее лжи.

Сумерки опустились на Ганновер рано — ноябрь не баловал горожан долгими вечерами. В лавке Генриха у Кожевенного моста горела всего одна сальная свеча, и свет ее дрожал на сквозняке, просачивающемся сквозь щели в оконной раме, затянутой промасленным пергаментом. Пахло чернилами, старой кожей переплетов и сушеным шалфеем — пучки трав свисали с потолочной балки, точно летучие мыши, заснувшие вниз головой.

Максимильян метался от двери к окну и обратно. Полы его синего плаща взметались и опадали, как крылья раненой птицы. Он то хватался за голову, то всплескивал руками, то останавливался и сверлил друга взглядом, полным отчаяния и праведного гнева.

— Как ты смеешь?! — выпалил он наконец, и голос его, обычно мягкий и вкрадчивый, сорвался почти на крик. — Дурак! Глупец! Я же просил тебя — будь осторожнее! Я умолял тебя! Еще позавчера, вот на этом самом месте, я говорил тебе: не высовывайся! Не дразни их! Молчи, если не можешь врать! А ты... ты вышел на площадь перед всем честным народом и прилюдно уничтожил человека! Магистра! Пусть даже шарлатана — но у него свиток с печатями, у него связи, он грозился пойти к архидьякону!

Он остановился прямо перед Генрихом, вцепился обеими руками в край стола и навис над ним, тяжело дыша.

— Ты понимаешь, что теперь будет? Понимаешь? Отец Бенедикт — старый дурак, но мстительный старый дурак. А Байер наврет ему с три короба — про ересь, про хулу на Церковь, про то, что ты бесовскими знаниями посрамляешь добрых христиан! И что тогда? Допрос? Дыба? Костер, Генрих, костер! Ты об этом подумал?

Он выпрямился и в отчаянии воздел руки к закопченному потолку, словно призывая небеса в свидетели.

— Молчал бы ты! Сидел бы со своими книгами, переписывал свои манускрипты, считал звезды — но молча! Нет же, вылез, осрамил, доказал, умник... А теперь молись Богу, чтобы все прошло! Чтобы никто ничего не заметил! Чтобы завтра на рассвете за тобой не пришли стражники с приказом от епископа! Молись, Генрих! Молись, пока есть время!

Он замолчал, тяжело переводя дух. Свеча мигнула, затрещала и выбросила в воздух тонкую струйку копоти.

Генрих сидел неподвижно. Он не поднялся с места, не изменился в лице, не отвел взгляда. Его спокойные серые глаза смотрели на друга с тем же выражением, с каким давеча глядели на Байера, — без страха, без гнева, без высокомерия. Только где-то в глубине зрачков теплилось что-то похожее на печальную благодарность.

Он выдержал паузу — долгую, густую, как мед. Потом откинулся на спинку стула, сцепил пальцы в замок и заговорил. Голос его звучал ровно, тихо, почти ласково — так говорят с детьми, которые испугались грозы, не понимая, что гроза пройдет, а небо останется.

— Максимильян, — произнес он, — ты прав. Во многом прав. Ты прав, что я должен был молчать. Ты прав, что осторожность — добродетель, особенно в наши времена. Ты прав, что Байер теперь побежит к священнику, а священник, возможно, к прево, а прево — к судье. Все это правда.

Он помедлил. Взял с подоконника маленький пузырек с чернилами, повертел его в пальцах.

— Но есть другая правда. Та женщина с больным коленом, что стояла во втором ряду, — она уже развязала кошелек. Еще минута — и она отдала бы свои пять пфеннигов за отраву, которая сделала бы ее калекой, а то и убила. Вдова суконщика Гертруда, что мучается мигренями, — она стояла в четвертом ряду и тоже слушала. Старый кожевник, у которого болят суставы в сырую погоду, — он стоял сзади и кивал. Все они верили Байеру. Потому что Байер говорил красиво, а я молчал. Если бы я снова промолчал, Максимильян, — они купили бы тухлое вино с уксусом и молились бы над ним, вместо того чтобы пойти к настоящему врачу.

Он поставил пузырек на стол. Свеча дрогнула в последний раз и погасла, оставив их в темноте, разрезаемой лишь красными угольками в жаровне. Генрих поднялся, подошел к окну и отодвинул пергаментную заслонку. В комнату вполз холодный лунный свет — тусклый, размытый облаками, но достаточный, чтобы видеть лица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.